



Капустина Евфросиния Игоревна – поэт, прозаик, переводчик сербской поэзии, фотограф. Автор поэтического сборника «Проблески света» (Санкт-Петербург, 2016)

ПАМЯТЬ ДРЕВЕСНАЯ

Каждый помнит что-то из детства. Запахи, звуки, ощущения. А я помню картинки. Как будто фотографии из альбома памяти. Ветром воспоминаний вдруг перевернёт страничку, а там, давно забытая, картинка. Яркая, красочная. Иногда даже с запахом.

Поздно уже, но почему на всех улицах народ? «Бом-бом-бом» – звучит призывное, колокольное. Я опять возле церкви. Внутри не включено электричество – только свечи, но их так много, что всё пространство залито светом.

«Вол-но-ю мор-ско-о-о-ю скрыв-ша-го дре-е-е-вле-е» – опять «древле»! Берёзовая лучина пламенем озаряет бабушкино лицо, когда она затепляет лампадку перед стареньким киотом. И напевает она про себя что-то такое же, неуловимое, как нить в её вязании. Что-то «о»-образное, обволакивающее, очищающее, освящающее.

«Волною морскою» – робким шёпотом первой древесной листвы выводит хор. Осторожно, словно боясь задуть пламя незримого огня в сердцах всех, кто стоит здесь. Иконные глаза смотрят вверх и куда-то внутрь. Светлые. Очищаемые. Поющие раздувают этот пламень и... «Гос-по-де-ви-и-и по-о-им, слав-но бо прос-ла-а-ви-ся» – на последних словах он вспыхивает и с радостным треском разбегается по всей церкви, выбегает на улицу и распространяется на всё окружающее пространство.

Я не уйду. Я останусь. Я помню. Я живу. В голове просыпается бабушкино, почти ветхозаветное:

– Вот пойдём в церкву – стой и слушай. Нет никакой смерти – это бесы нас пугают ею. А сегодня они сами так напугнувшись – не высунутся. Почему? Да потому. Ты слушай – Воскрес. И все воскреснут. И все ночью святые.

– И дядя Миша? – образ постоянно пьяного и дурно пахнущего соседа тяжело вяжется у меня с понятием святости.

– И он тоже, прости его Господи. Вот помрёт он, и в рай его понесут. Хотя там он пить бросит... – уже не нравоучительно высказывает бабушка общее желание. И сейчас я – словно опять маленький. Покупаю тонкую свечку. Она трепещет, бьётся в руках, не сгорает.

«Сей нареченный и святой день», – взлетает под церковные своды и выше, выше. Свеча гаснет с заключительным, утверждающим, бабушкиным: «Где твое, смерти, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос!»

Я люблю слушать мир. Потому-то я хожу по заброшенным пустым дворам, нахмуренным парадным, забираюсь на верхние этажи домов по шатким старинным лестницам. Растираю в ладонях снег, пахнущий мхом и благородной плесенью. Ищу и нахожу места, где паутина пахнет старыми книжными переплётками, а робкое солнце, потерявшееся в щелях – свечным воском. Где каждая трещинка становится частью линий нотного стана, а каждый кусочек отлетевшей штукатурки – кружочком долгой ноты.

И всё это звучит. Если я, хоть однажды, не услышу звучания мира, не услышу отголосков себя в нём – я возьму свой фотоаппарат и начну снимать многолетнюю пыль в режиме макросъёмки, бросать её на ветер и снимать в полёте. Наверное, так я смогу разбудить нужную мелодию – ту, что про лес во мне, про дом деревянный, про память.

Путешествие однажды сокращается до Пути – это тот случай, когда уменьшение даёт больше чем увеличение – верю.

КРЕЩЕНИЕ

«Кре-ще-ни-е. Кре-ще-ни-е», – выпеваю я полюбившееся слово уже второй час подряд. Какое замечательное слово: «Крещение»! Оно шуршит серебристой позёмкой по затвердевшему снегу, искрится шершавыми узорами не только на окнах, но и на стенах домов, деревьях, оградах.

И всё – другое. Небо ещё с вечера новое, как будто умытое. И люди – умытые. Может небо, умываясь, нечаянно плеснуло им в глаза? Вода – другая. Умытая, звучит смешно – ну, разве же бывает она неумытой. И всё-таки, она тоже новая. Наверное, ночью в ней полежали серебряные звёздочки и вытянули всю грязь. Серебро же очищает воду. Так на фильтре написано. Я уже чуть-чуть умею читать. Написано на голубенькой шуршащей этикетке: «С се-ре-бром». «Серебро» тоже хорошее слово. В нём целых две буквы «е» и поэтому оно чудесно поётся. Не зря же в слове «петь» вообще одна поющая буква. И это «е». Ей одной можно захлебнуться и засеребриться изнутри.

Вот и сегодня все поют. И всё – поёт. «Гла-ас Гос-по-день на во-дах во-пи-ет глаго-о-ля». И вода – поёт. Вот и в церкви об этом говорят. Звенит – переливается день.

Облака плывут в умытом воздухе. И я – умытый – плыву. Замотанный в шерстяной шарф поверх толстой шубейки – совсем как медвежонок – я плыву. Это немножко напоминает мне Умку из сказки. Мне становится почему-то жалко его: бедный белый медвежонок и не знает, что плывём мы потому, что Христос крестился. А может быть, и знает? Говорят же, что всё на земле – творение Божие. И медвежонки тоже.

«Дне-еь вод ос-вя-ща-а-ет-ся ес-тество», – искрится лазурное пение под церковными сводами. Внутри меня прыгают радостные снежинки. Они колются, но от этого только веселее. Огромный чан с водой снаружи весь в капельках. Трогаю эти живые ледяные хрусталики, и пальцы краснеют от холода. На Иордане не бывает так холодно, как у нас. Там тепло. И всё-таки, в России лучше. Пожалуй, немного жаль, что Господь крестился там. Но, наверное, так надо.

Я стараюсь сосредоточиться и несколько минут усердно и часто крещусь. Какая-то бабушка одёргивает сзади за капюшон и строго шепчет: «Не вертись в церкви». Я хочу объяснить ей, что я молюсь, и что всё умытое, и что надо радоваться, и про снежинки. Но она уже отвернулась и не слушает.

Певчие поют: «Вла-ды-ку зря кре-ща-е-ма». Фраза врезаётся и забирает на себя всё моё внимание. Владыка – это епископ. Серьёзный, с бородой. Его покрестили, и всё зря? Зачем же тогда? А как он стал епископом, если был некрещёным? Ход мыслей загоняет меня в тупик. Я морщу лоб, тру его, пытаюсь осознать что-то очень важное и неподдающееся законам логики. Хор поёт снова ту же молитву. И только теперь я осознаю, что Владыка – это Христос, которого сегодня Иоанн Креститель крестил в Иордане! Мне очень стыдно за свои мысли. Как же так... Нельзя в церкви думать о посторонних вещах.

Смотрю на икону Крещения Господня. Бог очень добрый. Он на всех образах добрый, но здесь особенно. Если покаяться, то Он простит. Я грустно смотрю вниз, стараюсь слушать молитвы. «Грех ради наших Человеколюбче», – взлетает до потолка песнопение. Вот. Он даже крестился из-за наших грехов. И моих тоже. А я всё равно грешу. Но я же не хочу! Просто... хочется понять. Но в храме нельзя. Это называется празд... как же... такое сложное слово... заканчивается на «мыслие». Мыслие... это уже напоминает набатный удар колокола «бом-бом-бом». Вот, опять я думаю.

Прижимаюсь лбом к ледяному чану. Каюсь. Но через несколько секунд храм вздрагивает от радостной песни: «Во И-ор-да-а-не кре-ща-ю-щу-ся Те-бе Гос-по-ди». Я не могу сдерживать своего восторга и начинаю топтать ногами, подпрыгивать вверх и громко подпевать. Меня опять дёргают, но это уже не важно. Главное там, «во И-ор-да-не».

Крещенский день медленно гаснет. Фонарный свет ленивыми рыжими котами лежит на дороге. И кажется мне, что и они тоже мурчат серебряно-звонкое «Во Иордане». Или это снег скрипит?.. Неважно. Фонари умытые. И я умытый, замёрзший. Умытый. Иорданом? Ворона, спикировав

из темноты, неудачно приземляется на ветку прямо над моей головой, и меня осыпает искристым снежным дождём. Я хохочу, и смех звёздочками рассыпается по крышам. Он тоже умытый.

БЫТЬ

Посвящается И.В. Н-вой

Ты, вслед за другими одногруппниками, лениво вползаешь в небольшую аудиторию. Третий день учёбы. Кленовые листья яркими бабочками бьются в стёкла институтских окон. Солнце действует наглее и скользит по деревянным крышкам столов, выжигая на них не озвученное общее желание – свободы. В голове неотключаемым фоновым сопровождением шумит лес. Ну, у кого-то, быть может, и что-то другое. Всё это явно не способствует углублению в лингвистические дебри английского языка.

Задние ряды – любимое место всех студентов-мечтателей и просто не выспавшихся – заклеены скотчем. Странность временно выключает разгульные мысли и возвращает в реальный мир. Ты замечаешь Её. И все тоже. Она смотрит – спокойно, чуть изучающе, из-под небольших очков.

– Не удивляйтесь, друзья. Просто на моих лекциях все будет работать. В меру своих способностей, но все. Поэтому расаживайте поближе. – Абсолютно ровный, как будто подвешенный в пространстве голос звучит интригуяюще и располагает к себе.

Сентябрь солнечными бликами волн вливается в октябрь. Ты погружаешься в неведомые глубины модальностей глаголов, плутаешь изумрудными джунглями времён Past и Present – вживаешься в язык. Собираешь его несущие нити и связываешь со своими – внутренними. Ты ощущаешь себя экспериментатором, которому посчастливилось попасть в лучшую лабораторию мира. Тем, кому поверили и доверили уникальные реактивы звука. Ты вживляешь в ткань себя витиеватые узоры букв и с замиранием сердца ждёшь результата.

Её имя переводится как «мир» – и она становится этим миром. Миром туманной неведомой Англии, миром чего-то зыбко-таинственного, хранящегося в заплеванных стенах старинных замков. Миром в значении необъятности. Миром в значении тишины. Ни то, ни другое не подчиняется математическим законам жизни. Любой может стать миром для кого-то. Любой может перестать быть вообще. Ключевое слово – быть. Не наличествовать на земной поверхности, а быть.

Отхрустевший рождественскими морозами свежеевпеченный хлебец-январь промокает, и суетливые воробьи жадно выхватывают остатки вспухшего крошева из февральских луж. Ты приходишь к ней, когда всё рухнуло, и она рисует тебе лошадку. Не смеётся над тобой. Так странно, не правда ли? Лошадка – несколько неопределённых линий на листе.

– Ты видишь, как я издеваюсь над бедным животным? В твоей жизни всё не так-то плохо, как кажется. – Чеховская философия, озвученная ею, ещё долго звучит во

внутреннем встроеном в твой мозг плейере. А лошадка? Лошадку она выбросила. Тебе остаётся только хранить запомнившиеся карандашные линии. Но от времени грифель неизбежно стирается. Ты обнаруживаешь в себе любовь к ваноговским полотнам и в трудные минуты подолгу глядишь на изгибы их линий. Они очерчивают профиль лошадки. Так тебе кажется.

Ты ждёшь её под лестницей и даришь цветы. Просто за всё. За то, что она «была». В отличие от многих. Да, ты уходишь из этого института, потому что всё там – не твоё. И все последние дни с её стола доносится аромат хризантем. Запах многое значит для памяти. Она не пользуется духами. Или они просто не ощущаются. Теперь она навечно – хризантемовая.

В мае до боли хочется жить, но порой он сунитесь свинцовыми тучами – пугает концом не начавшегося лета. Ты уже знаешь о её любви к песням Цоя и сюитам Грига – она включала их во время маленьких перерывов на лекциях. А ещё узнаёшь, что у неё рак головного мозга. Не от неё, конечно. Ты бегаешь по всему правому корпусу, чтобы попрощаться с ней перед уходом. У неё закончились пары. И ты для тех стен – закончился. Весеннее солнце старательно выжигало обою, но лепестки хризантем упорно отражали его. Так и остались они – впечатанными в стену, твоей тенью.

Ты поступаешь в другой вуз. В новой преподавательнице языка ищешь туманы, но упираешься в тонированное стекло шоколадных глаз. Февралями ты ловишь солнце в ладони, наполняешь лабораторные колбочки небом, а по ночам собираешь гербарии из светлячков. Тебе уже не бывает плохо, но от счастья ещё сильнее хочется увидеть её – попросить лошадку. И, да, сказать, что у тебя, наконец-то, твёрдые восемьдесят процентов по английскому. Ты пишешь её студентам и узнаёшь – больше не работает. Где она? Никто не знает.

Она утверждала, что у тебя есть будущее – оно стало настоящим. Она произносила гамлетовское to be не театрально-пафосно, а тихо приглушённо, отчего оно становилось похожим на туман – и таким же вечным. Ты накрепко привинчиваешь себе все аспектные формы времени Future и выгравировываешь на них изгибы хризантем в тумане. Вся композиция становится подобием полотна импрессионистов и смотрит лошадиным глазом. По-есенински. Она любила стихи.

Ты думаешь о туманах, парусах и пиратах, который почему-то говорят хриплым голосом Высоцкого. Закрадывается мысль, что тому распутинскому мальчику повезло куда больше. Туманы сворачиваются в длинный свиток. Небо в колбочках превращается в чернила, а гербарий – в перья. Ты пишешь одно слово: «быть». Подумав, приписываешь ещё одно: «есть». Будущее умеет становится настоящим. Но «бывшее» никогда не станет прошедшим. Она «была». It was. А значит она – есть. There is a. Она – будет. Will be. Ты пишешь в пустоту. Бышь-му. Ты пишешь туману. Настоящему. Ей.

